видел пути его исправления в возвращении Клейнмихеля в эпиграф. Исправлять текст за Некрасова и в этом случае мы не имеем никакого права.

Фактически такое исправление (возвращение в текст «Железной дороги» «графа Петра Андреевича Клейнмихеля») очень напоминает цензуру — в его основе не стремление выявить подлинный замысел поэта и его эволюцию, но навязывание Некрасову определенного «политического кредо», замена им подлинной некрасовской художественной и политической мысли. К сожалению, именно так во многих случаях и выглядит «комбинированный метод». Поэтому важнейшая задача нового научного издания стихотворений Некрасова — освободить поэта от этой посмертной, непредвиденной для него цензуры.

DOI: 10.31860/0131-6095-2021-4-38-51

© *П. Ф. УСПЕНСКИЙ*, © *А. С. ФЕДОТОВ*

ГРАЖДАНСКОЕ КАК ИНТИМНОЕ: ДИСКУРСИВНЫЙ КОНТРАПУНКТ В СТИХОТВОРЕНИИ Н. А. НЕКРАСОВА «НОЧЬ. УСПЕЛИ МЫ ВСЕМ НАСЛАДИТЬСЯ...»

1

В поэтическом наследии Н. А. Некрасова есть тексты, которые озадачивают современного читателя, могут казаться ему не просто странными, но и этически чуждыми, возмутительными или даже неприемлемыми. Вот одно из таких стихотворений:

(Отрывок)

Ночь. Успели мы всем насладиться.
Что ж нам делать? Не хочется спать.
Мы теперь бы готовы молиться,
Но не знаем, чего пожелать.

Пожелаем тому доброй ночи,
Кто все терпит, во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться мечтам и страстям;
Кто бредет по житейской дороге
В безрассветной, глубокой ночи,
Без понятья о праве, о боге,
Как в подземной тюрьме без свечи...[1]

В стихотворении, прежде всего, бросается в глаза намеренная двусмысленность первой строфы, допускающая как обобщенно-гедонистическое, так

[1] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 2. С. 50.

и эротическое прочтение. В рамках первой трактовки к моменту наступившей ночи персонажи успели воспользоваться всеми благами привилегированной жизни и, праздные и опустошенные, не знают, чем себя занять. Такое прочтение делает центральным тропом стихотворения исключительно социальную антитезу, причем элитарная группа дана неопределенно: кто составляет сообщество людей, то самое «мы», от лица которого говорит поэт, не вполне ясно. Обобщенность этой категории заставляет читателя включить себя в число членов воображаемой элиты и, устыдившись своей благополучной жизни, подумать о страдающих и угнетенных.

Второе, эротическое, прочтение начала стихотворения основывается, с одной стороны, на смысловых коннотациях лексического ряда, с другой — на странностях, которые не снимаются при первой трактовке. Начнем с последних. Строки «Мы теперь бы готовы молиться, / Но не знаем чего пожелать» плохо согласуются с идеей, что «мы» состоит из элитарных интеллектуалов, к которым присоединяется читатель. В самом деле, если речь идет о поэте и компании, с которой он «наслаждался» днем, то совершенно невообразимой кажется ситуация коллективной ночной молитвы! Если представить, что здесь говорится о поэте и читателе, поэте и вообще всех людях, имеющих время и средства для «наслаждений», то мысль о том, что эти пространственно разделенные субъекты одновременно испытывают затруднения со сном и собственными желаниями, кажется нелепой. Конкретная ситуация второй части первой строфы противоречит ее обобщенному началу, и в ней более естественно видеть указание на интимный опыт поэта и его возлюбленной. Строки о молитве напрашивается понимать как доверительную реплику близкому человеку, а не как обращение к читателю. Читатель же оказывается не прямым адресатом, а свидетелем интимной сцены.

В таком контексте лексический ряд первой строки — «Ночь. Успели мы всем насладиться» — транслирует недвусмысленные эротические коннотации, при том что все слова по отдельности их не содержат. В узусе литературного языка XIX века *наслаждение* подразумевало множество различных денотатов; *насладиться* и *наслаждаться* также обладали широким спектром сочетаемости, а сексуальное значение у этих глаголов не доминировало, хотя и не исключалось. В синтетическом высказывании Некрасова, однако, и выделенный темпоральный маркер («ночь»), и связанные с этим временем суток наслаждения, и, наконец, местоимение *всё* — смысловой квантор всеобщности, включающий в себя все мыслимые наслаждения, в частности те, о которых принято умалчивать, — указывают на эротический опыт возлюбленных.

Подчеркнем, что мы не считаем то или другое прочтение единственно правильным, — исходя из того, что первая строфа некрасовского стихотворения намеренно амбивалентна, мы убеждены, что обе трактовки на равных правах соседствуют в произведении. Оба прочтения также сосуществуют в интерпретативной традиции. Так, исследовательница творчества Некрасова М. Ю. Данилевская увидела в стихотворении соединение «любовной темы» и «мысли о благе другого человека»,[2] а писатель С. Я. Лурье, для которого первая строка «словно явилась из какой-нибудь юнкерской поэмы», задавался вопросами: «Не чересчур ли смел такой прыжок — из ночной постели в подземную тюрьму? Разве наслаждения, подразумеваемые тут, недоступны

[2] *Данилевская М. Ю.* Стихотворение Н. А. Некрасова «Над чем мы смеемся...»: первоначальная и каноническая редакции // Новые исторические перспективы: от Балтики до Тихого океана. 2020. № 4. С. 65. Аналогичное понимание некрасовского стихотворения см. в работе того же автора: *Степина М. Ю.* Образы и мотивы «Божественной комедии» Данте в лирике Н. А. Некрасова // Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские чтения — 2016): Сб. науч. трудов XVIII Всероссийской науч. конф.: В 2 ч. СПб., 2017. Ч. 2. С. 90–91.

угнетенным классам?»[3] Вместе с тем М. Горький и историк литературы, марксист Е. А. Соловьев (см. ниже), вероятно, не видели в стихотворении любовной темы, направив свою раздраженную критику на «гражданскую» часть.

Далее мы сосредоточимся на эротическом аспекте стихотворения и покажем, что для Некрасова он был принципиальным и соотносился с интеллектуальными конструкциями, характерными для окружения поэта в 1850–1860-е годы. Сопряжение интимной любовной практики и гражданского чувства, которое мы видим в этом стихотворении, формировало особую поэтическую мысль Некрасова, мысль, которая была плохо воспринята последующей культурной традицией как в силу ее экспериментальности, так и в силу того, что большинство синхронных дискурсов, на которые опирался поэт, перестали быть актуальными.

2

Прежде всего, необходимо понять, как усложняется смысловая полифония произведения, если читать его начало в эротическом ключе. В тексте смонтированы сами по себе непротиворечивые стили и дискурсы, которые именно в соединении выглядят необычно. Жанровые и стилистические приемы поэтического оформления сферы интимного и сферы гражданского в стихотворении конфликтуют друг с другом. При этом если вторая часть стихотворения (после отбивки), рассмотренная отдельно, представляется более или менее традиционной для гражданского поэтического дискурса, то первая строфа ломает привычные жанровые координаты интимной лирики и сразу указывает на сексуальную близость.[4] Текст говорит о моменте времени после интимного наслаждения и фиксирует психологическое опустошение, которое естественно наступает вслед за эмоционально-физиологическим подъемом. Именно эта опустошенность любовников, состояние сиюминутной утраты цели попадают в фокус изображения поэта и выражаются в растерянном: «Что ж нам делать?»

На этом, однако, неожиданности не заканчиваются: эмоциональную пустоту внезапно предлагается заполнить молитвой, практикой, казалось бы, максимально противопоставленной телесной любви. Подчеркнем, что в самом соседстве любви и молитвы в поэзии ничего необычного нет (ср.: «Молитва» («Моей лампады одинокой...»; 1835) Н. М. Языкова, «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»; 1837) М. Ю. Лермонтова, «Владычица Сиона, пред Тобою...» (1842) А. А. Фета, «Есть и в моем страдальческом застое...» (1865) Ф. И. Тютчева), однако тот факт, что речь идет не о духовной, а именно о физической близости, не томительном ожидании сакрализируемого «соединения», а прямо осуществленном «наслаждении», делает такое соседство почти кощунственным. В самой молитве, в свою очередь, есть нечто странное: герои думают не о покаянии и прощении, чего будто бы требует сама речевая ситуация обращения к Богу, а о том, «чего пожелать». Таким образом, буквально в каждой фразе первой строфы есть смысловая шероховатость, останавливающая внимание читателя.

---

[3] *Лурье С. Я.* Такой способ понимать. М., 2007. С. 235–236.

[4] Разумеется, физиологические акты любви так или иначе попадали в фокус поэтической традиции, идет ли речь об обсценной (И. С. Барков, юнкерские поэмы М. Ю. Лермонтова и т. п.) или легкой поэзии в духе Парни (К. Н. Батюшков и другие). Однако такая поэзия разрабатывала эротизм в конвенциональных литературных формах, часто — на грани «допустимого». У Некрасова же секс изъят из традиционных жанровых рамок: он не становится единственной темой стихотворения, более того, не интересен сам по себе, а важен как фон для более «волнующего» высказывания.

Необычным представляется и переход к другому дискурсивному полюсу — к гражданской части стихотворения. Он совершенно не мотивирован содержательно и подчеркнуто произволен, более того, из всех вариантов «чего пожелать» после любовного акта выбирается наименее ожидаемый, наименее предсказуемый. Риторически случайность этого выбора подчеркивается монтажным стыком: «чего пожелать» — «пожелаем тому <...>, кто».

Во второй части в пространство интимного символически врывается третий герой, который дан крупным планом — со своими «грубыми руками», «суровыми очами» и «немыми устами». Если молящиеся любовники полностью лишены каких-либо характеристик, то этот посторонний (и, конечно, обобщенный) человек рассмотрен подробно. Его образ сплетается из контрастов: он явно противопоставлен праздным (в этой системе координат), предающимся интеллектуальным, эстетическим и чувственным удовольствиям людям. Его страдания, однако, возвышены в религиозном смысле — как бы освящены именем Бога, в отличие от неуверенной, почти случайной религиозности любовников. Вместе с тем этот герой не замечает, что его трудами пользуются праздные люди: он «почтительно» предоставляет им возможность продолжать наслаждаться. Страдание рабочего человека за других уподобляет его Христу. В то же время знание о его жертве и ее высоком смысле принадлежит как раз интеллектуалам, а мир трудящегося описан как беспросветная и, что важно, лишенная присутствия Бога ночь. Соседство этого рассмотренного в религиозной, почти агиографической оптике героя с персонажами, только что пережившими плотское и — с религиозной точки зрения — низкое, грязное удовольствие, делает это стихотворение эпатирующим и едва ли не кощунственным.

Несмотря на очевидные религиозные коннотации, вторая часть стихотворения на символическом уровне соотносится с первой и в более парадоксальном смысле. Персонажи намеренно сближены: и рабочий, и любовники находятся в одном и том же моменте времени, лишены сна и окружены ночью. Текстуальное соседство интимной любви и тяжелого труда и страдания, традиционно локализованных в разных и герметично замкнутых областях социального воображаемого, приводит к необычному эффекту связи между ними. Воображаемые области разгерметизируются и проникают друг в друга. В самом деле, в тексте символически размыкаются пространственные и временные границы: молитва риторически сопрягает удовольствие от секса и страдания рабочих через чувство стыда, превращает темпорально разведенное в одновременное. Сексуальный акт, как свидетельствует некрасовская молитва, уже отравлен ощущением вины перед тем, за чей счет он осуществляется. Это порождает символическую отмену пространственных границ: стены спальни становятся прозрачными, и рабочий словно оказывается свидетелем интимной близости мужчины и женщины, немым упреком их праздности. В тексте интимное размывается настолько, что оно теперь открыто не просто социальному измерению (и может быть оценено с общественной точки зрения), а будто подглядывающему угнетенному трудящемуся человеку.

Как и всякий литературный текст, стихотворение «Ночь. Успели мы всем насладиться...» предлагает читателю занять позицию говорящего субъекта. Но делая это, некрасовские стихи настаивают на чем-то очень странном, поскольку в их основе лежит психологический маневр, нехарактерный и, пожалуй, нежелательный для большинства читателей. Такой ход, отменяющий саму возможность интимного и ставящий под сомнение прочность границ личного пространства, внушает смутную тревогу за сохранность приватного и этим причиняет дискомфорт.

Гражданская часть стихотворения может, впрочем, раздражать и сама по себе, в отрыве от интимной строфы, например, формой выражения скорби

о трудящихся. Действительно, выбирая в качестве адресата трудовой народ, герои при этом желают ему не облегчения его участи и не осознания им причин своего угнетенного состояния (и это при том, что трудящиеся явно нуждаются в просвещении, живут «без понятья о праве, о Боге»), а только «доброй ночи». Способность просто представить себе угнетенного человека и пожелать ему добра подается в стихотворении как достаточный в своем роде гражданский акт. Однако читателям Некрасова такое усилие может показаться и действительно казалось слишком скромным. Так, Соловьев удивлялся, как можно «примирить „терпение во имя Христа“ с отсутствием всякого „понятия о правде (так!) и Боге“», и указывал, что «такие трещины легко скрывались общим любовным настроением»,[5] т. е. состраданием народным бедам. Горький в «Заметках о мещанстве» (1905), в общем признавая искренность выраженного в стихотворении чувства вины, раздраженно вопрошал: «Неужели народу, усыпленному насильно, народу, сон которого ревниво оберегали тысячи верных слуг Левиафана-государства, неужели этому народу нельзя было пожелать ничего лучшего доброй ночи?» Горький считал подобные пожелания народу «дешевыми» и сокрушался, что такие «мещанские» стихи мог сочинить «лучший поэт тех дней».[6] Наконец, уже из современной перспективы Лурье, отмечая противоречия гражданской части стихотворения, отказывает Некрасову и в искренности.[7]

Обозначенные выше странности, на первый взгляд, говорят о стихотворении как о совершенно особом тексте, резко порывающем со всей предшествующей поэтической мыслью. Это вовсе не так, более того, как мы считаем, в целом Некрасов здесь работает с традицией в очень характерной для себя манере. Однако, забегая вперед, приходится констатировать, что такая контекстуализация, обозначение места текста на карте лирической традиции не только не снимает, но и усиливает ощущение его противоречивости.

Поэтическое новаторство Некрасова не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать. Попытки соединения языков любовной и гражданской лирики уже предпринимались в романтической поэзии, причем даже в самых классических ее образцах. Так, хрестоматийное пушкинское послание «К Чаадаеву» зачастую рассматривают как дерзкий пример наложения разнородных дискурсов:

---

[5] *Соловьев Е. А.* Семидесятые годы. Статья третья (М. Е. Салтыков) // Жизнь: Научный, литературный и политический журнал. 1899. Т. III (Март). С. 276.

[6] *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1953. Т. 23. С. 351–352. Стоит отметить, что чуть позже Горький поменял свое отношение к этой части стихотворения и стал видеть в ней «ироническое пожелание» (Там же. С. 271; см. также: *Примочкина Н. Н.* Творческое наследие Н. А. Некрасова в интерпретации Горького // Примочкина Н. Н. Горький: личность и творчество на фоне эпохи. М., 2019. С. 132).

[7] *Лурье С. Я.* Такой способ понимать. С. 235–236. Заметим, что текст принимали и иначе, не замечая странностей его гражданской части и не пытаясь уличить его автора в отсутствии искренности или настоящего понимания народных нужд. Так, в трилогии Е. Н. Чирикова «Жизнь Тарханова» (1911–1914) это стихотворение фигурирует как важный идеологический текст: главный герой поет его в тюрьме (см. об этом в статье: *Ямпольский И. Г.* Стихи Некрасова в произведениях других писателей // Некрасовский сборник. СПб., 1998. [Вып.] XI–XII. С. 98). Никакого противоречия в гражданском пафосе стихотворения не увидел Г. В. Плеханов. Некрасовский народ «не умеет бороться и не сознает необходимости борьбы. Главной отличительной чертою этого народа является *вечное терпение*», — утверждал марксист и, приведя вторую часть рассматриваемого стихотворения, приходил к выводу, что «*такому* народу только и можно пожелать что „*доброй ночи*“: *проснуться* он неспособен» (*Плеханов Г. В.* Н. А. Некрасов. К 25-летию со дня смерти // Плеханов Г. В. Соч.: [В 24 т.]. М., Л., 1925. Т. 10. С. 389). Стоит подчеркнуть, что читательские впечатления Плеханова учитывают исторический контекст: он отмечает, что позже, уже после 1861 года, мысли Некрасова о народе изменятся. Противоречия стихотворения обходило впоследствии и советское некрасоведение.

Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.[8]

Здесь соединение любовной и гражданской тематики происходит не только через эффектное сравнение ожидания политической «вольности» с ожиданием «свиданья», но и через сам язык: поэт явно экспериментирует, применяя словарь любовной лирики («в нас горит еще желанье», «мы ждем с томленьем упованья») для разговора о политике.

На этом фоне Некрасов совершает характерную и уже описанную в науке трансформацию: он как бы овеществляет романтические штампы и перифразы, делает элементами фактической реальности то, что в романтической лирике оставалось в сфере умозрений.[9] Любовное свидание в стихотворении «Ночь. Успели мы всем насладиться...» из метафоры политических преобразований превращается в реальное событие, напоминающее о страданиях угнетенных, заставляющее вспомнить о них, а идея сходства заменяется идеей каузации. Не настаивая, разумеется, на прямой связи пушкинского и некрасовского текстов, предположим, что пушкинские гражданские стихи действительно могли мотивировать Некрасова на эксперименты. Так, появляющийся в последней строке образ темной «подземной тюрьмы», вероятно, навеян пушкинскими «каторжными норами» из послания «Во глубине сибирских руд...».

Сходным образом работает и предпосланный стихотворению жанровый подзаголовок «отрывок». С одной стороны, он подключает текст к той же романтической традиции (начальное «ночь» заменяет собой всю экспозицию, что вполне естественно для традиции «отрывков»), а с другой — объясняет пунктирное описание самой ситуации молитвы за трудящихся, позволяет поэту выхватить из всей ночи один, наиболее проблемный фрагмент, сосредоточиться именно на нем, а не, например, на любовных переживаниях.

Литературная традиция, однако, мало что проясняет в смысловой организации некрасовского стихотворения: реконфигурация элементов традиции только высвечивает его новаторство, но не позволяет объяснить его генезис. Настоящие идеологические и дискурсивные истоки стихотворения Некрасова лежат в другой области — в комплексе представлений современников поэта о природе сексуальной энергии.

3

Идея, что гражданская и сексуальная энергия черпаются как бы из единого резервуара, весьма характерна для русской интеллектуальной культуры середины XIX века.[10] В кругу русских западников эта идея — заметим, предшествующая более позднему открытию либидо — осмыслялась на разных

[8] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1947. Т. 2. Кн. 1. С. 72.

[9] См. об этом: *Макеев М. С.* Поэзия Некрасова и идеология русской радикальной интеллигенции середины XIX века // К 60-летию профессора А. И. Журавлевой. М., 1998. С. 91–105. Характерный пример такого «овеществления» — «бич», который из романтической эмблемы угнетения у Некрасова превращается в реальную плеть. Ср.: «Вчерашний день часу в шестом...».

[10] См. об этом: *Паперно И.* Семиотика бытового поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996. С. 79–81.

этапах по-разному и, видимо, изначально была связана с жоржзандистскими литературными моделями и обусловленными ими жизненными практиками.[11] При этом, вопреки более ранним представлениям, любовь к женщине не только не отвлекала от служения «делу», но, напротив, отчасти подпитывала последнее, а отчасти просто сливалась с ним. Так, уже в 1840-х годах «развитие» женщины с целью ее последующего извлечения из «семейного ада» или социальной пропасти мыслилось как долг одновременно перед любимой женщиной и обществом в целом. Эта идея представлена как в литературных текстах (ср., например, «Кто виноват?» (1846) А. И. Герцена или «Полиньку Сакс» (1847) А. В. Дружинина), так и в реальных любовных историях героев этой эпохи. Достаточно будет вспомнить экспериментальные браки В. П. Боткина, А. И. Герцена или И. И. Панаева.

Так, в 1843 году Боткин женился на парижской модистке Арманс Рульяр и, очевидно, собирался ее «развивать», однако отношения быстро прекратились. Распад брака произошел и из-за несходства характеров, и из-за того, что любовная притягательность не сопровождалась чаемым родством душ и равенством личностей. Арманс была не в состоянии понять ни их «положения», ни «болезненного сердца» мужа. В исповедальном письме к Белинскому от 6 августа 1844 года Боткин писал: «И на счастие не было у меня, — совершенно не было претензии; но только на искренние дружеские отношения и на спокойствие. Но, Боже мой, — что же я встретил вместо этого! Характера желчно-упрямого, самонадеянного и самолюбивого, она с самого начала не хотела уважить ни одного моего совета, ни одного самого кроткого замечания. Она была полна требований на счастие и на жизнь — самых страстных и романтических и *хотела видеть во мне только рабского любовника*».[12]

Характерно, что друзья Боткина быстро перекодировали его неудачу, объяснили ее идеологически и выразили ее в широко распространившемся анекдоте, согласно которому брак распался, поскольку француженка не смогла восхититься эмансипационными идеями романа Жорж Санд «Жак».[13] Такая перекодировка совершалась в русле других брачных проектов эпохи.

Возможно, излишним будет напоминание о том, насколько экспериментальными были отношения Некрасова с А. Я. Панаевой, тоже не лишенные жоржзандистской подкладки. «Тройственный союз» как новая форма семейных отношений предполагал освобождение, отмену по крайней мере части условных форм отношений супругов, автоматически остранял традиционный брак, высвечивая его собственнические, насильственные стороны, и тем самым не был чисто «личным» делом. Организация такого союза была вызовом обществу в не меньшей степени, чем «идейные» и фиктивные браки 1840–1860-х годов. И. И. Панаев, Панаева и Некрасов построили относительно успешный брак втроем, т. е. на практике осуществили то, что не полу-

[11] О Жорж Санд и русском жоржзандизме 1840–1860-х годов см., например: Там же. С. 77–134; *Малиа А.* Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855. М., 2010. С. 354–380; *Стайтс Р.* Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм, социализм. М., 2004. С. 44–52; *Скафтымов А. П.* Чернышевский и Жорж Занд // Скафтымов А. П. Статьи о русской литературе. Саратов, 1958. С. 203–225; *Строганова Е. Н.* Писательница и литературный канон: Жорж Санд в русском общественном сознании 1830–1870-х годов // Строганова Е. Н. Классики и современницы. Гендерные реалии в истории русской литературы XIX века. М., 2019. С. 27–40. Об отношении Некрасова к личности и творчеству Ж. Санд см.: *Мостовская Н. Н.* Некрасов и Жорж Санд // Некрасовский сборник. [Вып.] XI–XII. С. 105–113.

[12] Из писем В. П. Боткина к Белинскому / Публ. Н. Измайлова // Литературная мысль: Альманах. Пг., 1923. Вып. 2. С. 185; курсив наш — *А. Ф., П. У.*

[13] История рассказана в «Эпизоде из 1844 года» А. И. Герцена, включаемом в четвертую часть «Былого и дум», но изданную посмертно (Герцен путает даты, относя свадьбу Боткина к 1844 году). См.: *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 255–262.

чилось у их более теоретически искушенных современников. Впрочем, укажем на реализованные тройственные отношения Н. В. и Л. П. Шелгуновых и М. Л. Михайлова, хронологически совпадающие с экспериментом Панаевых и Некрасова.[14]

Описанная в «Былом и думах» семейная драма Герценов представляет собой образцовый случай соединения приватного и политического: провал попытки построить семью-коммуну, где гармоничное общежитие не противоречило бы искренности в любви, срастался в воображении Герцена с провалом европейских революций конца 1840-х годов. Семейная трагедия объявлялась в «Былом и думах» если не прямым следствием крушения надежд прогрессистов, то по крайней мере закономерным совпадением, что закреплялось самой композицией текста, в которой рассказ о распаде семьи накладывался на изложение исторической катастрофы революционеров.

Логика связи и взаимоподдержки эротического и гражданского работала и в обратную сторону. Гражданская несостоятельность и внутренний изъян идеологии могли объясняться через половое бессилие. Так, например, Панаев, человек западнических взглядов, со скепсисом относившийся к славянофильской доктрине, в своих воспоминаниях (1861–1862) следующим образом характеризовал К. С. Аксакова, которому, надо отметить, по-человечески симпатизировал: «Константин Аксаков в житейском, практическом смысле оставался до сорока с лишком лет, то есть до самой смерти своей, совершенным ребенком. Он беззаботно всю жизнь провел под домашним кровом и прирос к нему, как улитка к раковине, не понимая возможности самостоятельной, отдельной жизни, без подпоры семейства. Вне своих ученых и литературных занятий он не имел никакого общественного положения. Смерть отца и происшедшая от этого перемена в домашнем быту вдруг сломила его несокрушимое здоровье. Он не мог пережить этой потери и перемены и умер не только холостяком, даже девственником».[15]

Чрезвычайно непристойное публичное указание на девственность недавно умершего Аксакова (1860) могло мыслиться возможным и уместным только в качестве аргумента в объяснении его славянофильских «заблуждений», т. е. только в контексте критики славянофильства.

Многочисленные и принципиальные противоречия между поколениями сороковых и шестидесятых годов, а также обсуждавшиеся в науке эротические проблемы «шестидесятников»[16] не должны заслонить того факта, что связь эротического и социального они понимали практически одинаково. Так, готовившийся к женитьбе на О. С. Васильевой Н. Г. Чернышевский в своих дневниках предчувствует, что именно соединение с женщиной даст ему необходимый новый импульс в гражданской борьбе.[17] В некоторых отношениях Чернышевский, однако, шел дальше своих дворянских предшественников: он не только персонально связывал брак и борьбу, не только отразил соединение

---

[14] См. недавнее краткое изложение истории Панаевых и Некрасова: *Макеев М. С.* Николай Некрасов. М., 2017. С. 139–143 (сер. «Жизнь замечательных людей»); о Михайлове и Шелгуновой см. не потерявшие актуальности соображения исследовательницы, а также нарезку писем и мемуарных свидетельств: *Богданович Т. А.* Любовь людей шестидесятых годов. М., 1929. См. также: *Шелгунов Н. В., Шелгунова Л. П., Михайлов М. Л.* Воспоминания: В 2 т. М., 1967.

[15] *Панаев И. И.* Литературные воспоминания / Первое полн. изд. под ред. с прим. Иванова-Разумника. Л., 1928. С. 247. См. также: Современник. 1861. № 9. Отд. I. С. 10. В первой публикации в приведенной цитате отличается только предпоследнее предложение, ср.: «Смерть отца вдруг сломила его несокрушимое здоровье».

[16] См.: *Klioutchkine K.* Between Ideology and Desire: Rhetoric of the Self in the Works of Nikolai Chernyshevskii and Nikolai Dobroliubov // Slavic Review. 2009. Vol. 68. № 2. P. 335–354; *Вдовин А. В.* Николай Добролюбов: разночинец между духом и плотью. М., 2017.

[17] Этот сюжет подробно описан в книге: *Паперно И.* Семиотика бытового поведения. С. 80.

этих практик в беллетристическом сочинении (в романе «Что делать?»), но и выступил с прямыми публицистическими рассуждениями на эту тему.[18]

В знаменитой статье «Русский человек на rendez-vous» (формально — рецензии на «Асю» И. С. Тургенева) критик, как известно, указал на общую слабость героев русской литературы — их нерешительность в момент любовных объяснений (ср. Бельтов, Рудин и т. д.). Чернышевский также связал эту нерешительность с общественными условиями их воспитания, а значит — в соответствии со своей литературно-критической концепцией — и с условиями воспитания русского человека в целом. Признавая в Ромео, как он называет героя «Аси», передового русского человека, ответственного за развитие русского общества и России как государства, критик указывает, что его взросление и мужание происходят в условиях, вообще не требующих от человека его статуса принятия важных решений. Отсутствие в России элементарных демократических институтов — партий, выборов, политики хотя бы в зачаточной форме — приучает человека к мысли, что от его действий и поступков ничего не зависит. В итоге такая система способствует развитию в лучших русских людях паралича воли. Формульно эта мысль была выражена в широко известном пассаже: «Без приобретения привычки к самобытному участию в гражданских делах, без приобретения чувств гражданина ребенок мужского пола, вырастая, делается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, но мужчиной он не становится или по крайней мере не становится мужчиной благородного характера. Лучше не развиваться человеку, нежели развиваться без влияния мысли об общественных делах, без влияния чувств, пробуждаемых участием в них».[19]

В процитированном фрагменте становление мужчины в полном смысле слова возможно только через участие в общественных делах. В России отсутствует настоящая общественная жизнь, и это приводит литературных персонажей и реальных людей к неспособности проявить себя в любви. При этом не любовная несостоятельность каузировала гражданскую (как, видимо, в приведенной выше панаевской характеристике Аксакова), а наоборот.[20]

Характерно, что в числе литературных персонажей, олицетворяющих любовное и гражданское бесплодие, критик называет и Агарина из некрасовской поэмы «Саша» (1855). «Натолковал он Саше, что, говорит, „не следует слабеть душою“, потому что „солнышко правды взойдет над землею“ и что надобно действовать для осуществления своих стремлений, а потом, когда Саша принимается за дело, он говорит, что все это напрасно и ни к чему не поведет, что он „болтал пустое“».[21] Чернышевский, таким образом, вписывает некрасовского героя в ряд других персонажей, проблемы которых располагаются в зоне взаимодействия любовного и политического. В самом деле, когда Агарин полон прогрессивных идей, он, заразив Сашу новой идеологией, уезжает из деревни; вернувшись через несколько лет разочарованным в прежних идеалах, он тянется к семейной жизни и делает Саше предложение, однако героиня ему отказывает. Гражданское и интимное в случае Агарина не под-

[18] О взглядах Чернышевского на вопросы секса и брака см.: Там же. О месте Чернышевского и романа «Что делать?» в истории женского освободительного движения и, в частности, в истории либерализации общественных представлений о сексе см.: *Стайтс Р.* Женское освободительное движение в России. С. 135–148; *Ключкин К.* Women's Prose in the Modernizing Cultural Economy: 1850s–1870s // Складчина: Сб. статей к 50-летию профессора М. С. Макеева. М., 2019. С. 98–121.

[19] *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. М., 1950. Т. 5. Статьи. 1858–1859. С. 168–169.

[20] К. Ключкин, анализируя «Русского человека на rendez-vous» в смежном ракурсе, показал, как статья встроена в размышления Чернышевского, и его ровесников о собственной гражданской и сексуальной идентичности. См.: *Klioutchkine K.* Between Ideology and Desire. P. 339.

[21] *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. Т. 5. С. 159–160.

питывают друг друга, как хотелось бы Чернышевскому, а находятся как бы в отношениях дополнительной дистрибуции (в герое может проявиться только одно начало, но не оба вместе).

Некрасов и Чернышевский мыслят в единой логике взаимозависимости гражданского и сексуального (это совпадение, вероятно, неслучайно: статья и стихотворение были созданы в один год).[22] В рамках этой логики стихотворение «Ночь. Успели мы всем насладиться...» можно считать своего рода надстройкой над идеями «Русского человека на rendez-vous». Если политическая зрелость должна привести к решительности в любви — готовности брать ответственность, делать предложение, строить отношения в браке и т. п., то любовная удовлетворенность в свою очередь может выступать сигналом гражданской состоятельности. Эта инверсия мыслей Чернышевского, с нашей точки зрения, проявляется в стихотворении Некрасова: переход от интимной близости к мыслям о безвыходном положении народа происходит только после того, как человек доказал свою физическую состоятельность в любви.

Разумеется, в статье Чернышевского и в стихотворении Некрасова говорится о разных сторонах любви. В интеллектуальных координатах эпохи, однако, решительность в отношениях любого типа черпается из одного эмоционального резервуара. Способность сделать предложение на известном уровне абстракции тождественна половой зрелости. Очевидно, впрочем, что Некрасов на уровне риторики и образности действует радикальнее своих современников, — он пишет не о «платонической» стадии любовных отношений, а непосредственно о сексе.

В «Ночь. Успели мы всем насладиться...» половая удовлетворенность парадоксальным образом оказывается разрешением думать о судьбе народа. Герой Некрасова в деле гражданской борьбы недалеко уходит от тургеневского Ромео. Но в одном существенном отношении, как мы покажем далее, он от него все же отличается.

4

Соединение любовной и гражданской темы в стихотворении «Ночь. Успели мы всем насладиться...» совершается Некрасовым с использованием приемов, характерных для цикла стихотворений, обращенных к Панаевой. Так, героиня этого цикла наделена минимальными внешними характеристиками и лишена собственного голоса. Еще более существенной и постоянной особенностью «панаевского цикла» являются изображенные в нем отношения: персонажи — вопреки поэтической традиции — уже преодолели фазу ухаживаний и соблазнения и теперь мучительно проживают их длящуюся близость. «Ночь. Успели мы всем насладиться...» эксплуатирует и эту черту некрасовских любовных стихов. Само по себе «наслаждение» в них — не желанная цель, а данность, осложненная, однако, постоянным аффективным напряжением — ссорами, размолвками, расставаниями (ср., например, хрестоматийное «Мы с тобой бестолковые люди...»). Возможно, эта сторона панаевских стихотворений облегчала прямой переход от собственно любовных к иным, внеположным любви темам, в данном случае — гражданским. Впрочем, гражданское служение в стихотворении «Ночь. Успели мы всем

[22] Стихотворение датировано автором 1858 годом, однако эта датировка ненадежна (см.: *Макеев М. С.* Опыт реконструкции утраченных помет Н. А. Некрасова // Могут ли тексты лгать? К проблеме работы с недостоверными источниками. Таллинн, 2014. С. 149–150, 152). Текст впервые был опубликован в 1861 году. Из дальнейшей аргументации будет ясно, что мы склонны доверять принятой датировке, однако этот вопрос для нас не является принципиальным.

насладиться...», как уже отмечено, ограничивается лишь общей, пассивной озабоченностью судьбой угнетенных, молитвой за них и пожеланием им «доброй ночи».

Осуществленная любовь, таким образом, не приводит к настоящей энергичной и полезной общественной деятельности, а сами герои, в одном отношении преодолев отрефлексированную Чернышевским типичную слабость русского интеллектуала, в другом — наследуют ей. Любовная энергия тут связывается с социальной, но не приводит к поступкам, а лишь будит чувство вины перед теми, кому мы обязаны не только возможностью «погружаться в искусства, науки», но и — как прямо следует из текста — возможностью наслаждаться любовными утехами. В любовных стихотворениях панаевского цикла изображаются непростые отношения, но если в них сложности вытекают из характеров героев, то здесь любовь отравлена виной за страдания тех, кто обеспечил саму возможность безмятежной близости.

Некрасовский герой, рассмотренный в типологической перспективе, встраивается в очерченный Чернышевским ряд персонажей: он обладает очевидными социальными преимуществами, но, как и лишние люди, не в состоянии использовать эти преимущества для полезного гражданского поступка. Вместе с тем тургеневского Ромео и других персонажей герой Некрасова все-таки превосходит: ему уже очевидна связь его блаженства со страданиями других и доступно чувство вины. Это отличие предсказуемо сопровождается и другим — любовной состоятельностью.

Стихотворение не предлагает какой-либо однозначной политической инструкции, оно фиксирует проблему соотношения гражданского и эротического в ее противоречивости. Сексуальный акт символически доказывает присутствие в герое энергии, необходимой для гражданского жеста и, в соответствии со всем строем мыслей и чувств эпохи, открывает прямой путь к мыслям о народе, но само разбуженное гражданское чувство не приносит никому облегчения, а напротив, оборачивается мучительным чувством вины. Некрасов фиксирует такое состояние гражданина, когда он уже испытывает угрызения совести за любые полученные удовольствия, но при этом остается пассивным «сочувствующим».

Читателей стихотворение Некрасова инструктировало не в плане поступков, а в плане новой эмоциональной экономики. Образованный и обеспеченный любитель поэзии мог жить с представлениями о том, что его интеллектуальные, духовные и гедонистические (в том числе сексуальные) практики оплачены им самим. Некрасовский текст настаивал на том, что они оплачены другими, и порождал идею долга, тотально пронизывающего всю жизнь такого читателя. Стихотворение давало пример нового «правильного» способа чувствования и переживания, в том числе и любовных отношений, и вместе с тем поселяло в читательской психике определенную фрустрацию. Сочувствующий читатель должен был теперь жить с ощущением, что даже в момент самой интимной близости рядом с партнером присутствует некто третий — несчастный угнетенный человек, который предстает не просто воображаемым свидетелем секса, а тем, благодаря кому секс как таковой состоялся.

В указанном нами аспекте «Ночь. Успели мы всем насладиться...» предстает более радикальным предвестником вообще характерной для Некрасова мысли о долге перед народом. Так, в «Железной дороге» (1864) Ванюше, а вместе с ним и читателю, предлагается признать решающий вклад трудящихся не только в строительство быстрого и комфортного пути из одной российской столицы в другую, но и поблагодарить их за другие достижения цивилизации и даже искусства (в том числе, конечно, за Собор Святого Стефана и Колизей). Идея долга перед народом, отразившаяся и в стратегии Некра-

сова как издателя «Современника», и в его стихах (см., в частности, сатиру «Балет»), как показал М. С. Макеев, была существенно углублена в середине 1860-х годов воздействием на поэта политэкономических концепций Ю. Г. Жуковского.[23] Однако, если экономическая составляющая «долга» действительно допускала усложнение, то в представлении о том, за что именно мы должны, дальше, чем в «Ночь. Успели мы всем насладиться...», ни сам Некрасов, ни его современники не заходили.

Радикальность предложения испытать социальный стыд за собственные интимные удовольствия очевидна и современному читателю. Эмоциональная экономика Некрасова до сих пор может вызывать противоречивую реакцию, и это свидетельствует о том, что стихотворение не списано в архив, а фоново присутствует в актуальном литературном каноне. Читательская тревога от «Ночь. Успели мы всем насладиться...», надо полагать, объясняется тем, что смысловая конфигурация текста содержит очевидный политический заряд в понимании Ж. Рансьера.

Эстетическая теория французского философа зиждется на том, что произведение искусства, активизируя читательское воображение и предлагая осознать нечто, что может быть увидено и высказано, «меняет наше восприятие чувственных событий, наш способ соотносить их с субъектами, меняет то, как именно наш мир оказывается населен событиями и фигурами».[24] Работа вымысла, по Рансьеру, осуществляет диссенсус, конфликт в способах осознания и репрезентации окружающей реальности, и в этом искусство тождественно политике, внутри которой происходит постоянная конкуренция номинаций и перемещение границ социальных практик, норм и идеологий. Один из ключевых примеров философа — публикация во французской революционной газете «Набат трудящихся» во время революции 1848 года очерка о рабочем-столяре. В тексте, полностью лишенном политических категорий, описывается один день рабочего, причем ключевой эпизод приходится на момент, когда столяр, человек физического труда, открывает для себя красоту вида за окном, т. е. делает нечто, не характерное для представителей его общественного класса.[25] В этой публикации Рансьер обнаруживает острый политический смысл: одна возможность разорвать ткань своего повседневного опыта и просто вообразить другую конфигурацию повседневных практик уже становится шагом по изменению окружающего мира.

В свете теории Рансьера стихотворение Некрасова, очевидно, является политическим по своей природе, и, заставляя нас пережить в воображении фрустрирующий опыт, оно по-прежнему побуждает нас реконфигурировать окружающую нас реальность, причем пользуется безотказным приемом — апеллирует к нашим природным проявлениям, до конца не поддающимся окультуриванию и вместе с тем нуждающимся в культурной регуляции.

5

Вернемся теперь к вопросу: почему же стихотворение «Ночь. Успели мы всем насладиться...», кратко и радикально выразившее систему взглядов своей эпохи о связи интимного и гражданского и в то же время обусловленное поэтической традицией, вызывало и вызывает раздражение и недоумение.

---

[23] См. главу «Безденежье и долг перед народом. Сатира „Балет“ и концепция „Современника“ в годы перед закрытием» в книге: *Макеев М. С.* Николай Некрасов: Поэт и предприниматель (очерки о взаимодействии литературы и экономики). М., 2009. С. 145–165.

[24] *Рансьер Ж.* Эмансипированный зритель. Н. Новгород, 2018. С. 64.

[25] Там же. С. 60–61.

Воображаемый читатель в процитированном выше отзыве Лурье вопрошает: «Не чересчур ли смел такой прыжок — из ночной постели в подземную тюрьму?» Этот вопрос представляется нам вполне характерным для читателя второй половины XX века.

Дело в том, что сами сексуальные (а в координатах эпохи неизбежно и гражданские) эксперименты 1840–1860-х годов в целом потерпели неудачу. О семейных драмах «людей сороковых годов» уже упоминалось выше. Их надежды на гармонизацию семьи на новых основаниях не оправдались и привели к страшным для них психологическим последствиям.

Новую попытку реформировать семью предприняли «шестидесятники». По всей видимости, одним из центральных вопросов для этого поколения стал вопрос о супружеской измене и шире — вообще о праве состоящих в отношениях ограничивать эротическую свободу друг друга. Так, Чернышевский в письмах жене из сибирской ссылки настаивает на том, что ей следует вести полноценную жизнь, заботясь, в первую очередь, о своих потребностях и не думая о его страданиях. Субъективно Чернышевский переживает свое поведение как единственно возможное для человека передовых убеждений, тогда как сложившаяся позже биографическая традиция понимает автора «Что делать?» скорее как наивного идеалиста, манипулируемого ветреной и циничной женой. Налицо типичная перекодировка поведения радикального разночинца, которого нормализованной культуре XX века приходится трактовать либо как неудачника, либо как оторванного от реальности мечтателя, тогда как сам он не был ни тем, ни другим.

Площадкой для экспериментов в отношениях для новых людей стали коммуны 1860-х годов, возникшие вслед за выходом романа «Что делать?» и под его непосредственным влиянием. Само совместное проживание незамужних и неженатых людей — в рамках культуры XIX века — уже вызывающе. Для негативно настроенных современников именно половая сторона взаимодействия коммунаров представлялась наиболее очевидным объектом критики и насмешки. Так, Достоевский в явно карикатурном виде изображает коммуну в «Преступлении и наказании»: ее участники, по словам Лебезятникова, «дебатируют» вопрос о том, «имеет ли право член коммуны входить к другому члену в комнату, к мужчине или женщине, во всякое время».[26] Дебаты эти подвергаются не лишенным основания насмешкам циника Лужина. Разумеется, и в попытках Лебезятникова «развивать Софью Семеновну»[27] Лужин — и, без сомнения, Достоевский тут с ним солидарен — не видит ничего, кроме завуалированного домогательства. Деятельность коммун, в том числе и сексуальный ее аспект, подверглись критике и в русском антинигилистическом романе, стали почти обязательным элементом критики нигилизма вообще.[28] Таким образом, коммунарное движение не только потерпело поражение в реальности, столкнувшись с целым рядом непредвиденных Чернышевским сложностей, но и подверглось мощной дискурсивной атаке, определившей репутацию коммунаров как сексуально невоздержанных людей, прикрывавших прогрессистской риторикой непомерные половые аппетиты.

Так или иначе, независимо от нашей оценки деятельности и экспериментов «новых людей», приходится констатировать, что в интеллектуальном наследстве, оставленном поколением «шестидесятников», нет ничего более чуждого интеллигенции, чем их отношение к интимной жизни.

Сложности с новым пониманием сексуальности возникли уже у первых теоретиков. Несмотря на литературно-критические манифестации и привер-

---

[26] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. и писем: В 35 т. СПб., 2016. Т. 6. С. 320.

[27] Там же. С. 319.

[28] См. об этом: *Стайтс Р.* Женское освободительное движение в России. С. 164–167.

женность новой идеологии, и Чернышевский, и Добролюбов, как показывают их эго-документы, не были готовы осмыслить половую энергию в рамках радикальных социальных убеждений, более того, мучительно не знали, как примирить интимное и общественное в своей частной жизни. По сути, они оставили решать эту задачу следующему поколению.[29]

Для него, однако, каузация и балансировка двух начал также оставалась проблемной (хотя это не означает, что никто не смог найти удачных решений). Страдающие за народ интеллектуалы с трудом примиряли служение обществу и собственные сексуальные потребности. Случай душевной болезни Г. И. Успенского не только ярко иллюстрирует мучительное напряжение между двумя областями жизни, но и демонстрирует, насколько противоестественной была сама задача подчинить биологические проявления целям общественной идеологии. Писатель-народник, напомним, не будучи в силах согласовать эгоистическое половое влечение и альтруистическое стремление помочь каждому ближнему, расщепил собственное Я на две субличности. Идеологическое противоречие в каком-то смысле «разорвало» Успенского на две части, и последние годы своей жизни писатель провел в психиатрических больницах.[30]

Выходя за хронологические рамки нашей работы, конспективно наметим дальнейшую судьбу сюжета: слом личности Успенского оказался своего рода провозвестником модернизма — периода, в котором понимание сексуальности резко качнулось от зоны гражданского в сторону эстетического и метафизического. Приход большевиков к власти вновь соединил сексуальное и общественное в неразрешимом противоречии, однако с 1930-х годов и до конца сталинской эпохи все интимное либо вовсе табуировалось, либо подчинялось государственной идеологии. Оттепельная эпоха с радостью отвергла идею разомкнутости интимного и взаимоналожение любовного и гражданского. Отсутствие частного пространства в современном смысле этого слова в представлениях граждан Советского Союза второй половины XX века компенсировалось приватной жизнью, которая воспринималась как защита от всепроникающего влияния государства.[31] Вместе с распадом советской империи и радикальным очищением культурной памяти, для которой «революционные демократы» перестали играть какую-либо роль, исчезла и сама идея каузации сексуального и гражданского, и потому «прыжок из ночной постели в подземную тюрьму», осуществленный в стихотворении Некрасова, стал казаться возмутительным в своей дерзости.

Таким образом, русская интеллигенция, усвоив комплекс вины перед народом, все-таки приняла ее не во всех предложенных Некрасовым вариантах. Если вина за комфорт и цивилизацию до сих пор в чем-то организует наши культурные представления, то более радикальный проект вины за интимные удовольствия оказался чуждым и неприемлемым. Надо полагать, по тем же причинам современные читатели чаще всего относятся к эротическому прочтению недоверчиво. Оно, видимо, возникает на периферии сознания, но, поскольку в таком случае текст свидетельствует об «испорченности», пошлости нашего воображения, на сексуальный субстрат накладывается табу, а «наслаждения» первой строфы начинают пониматься в широком смысле слова — как все те повседневные удовольствия, которых культура приучила нас стыдиться.

---

[29] См.: *Klioutchkine K.* Between Ideology and Desire. P. 335–354.

[30] См. подробнее: *Успенский П. Ф.* Гипотеза Якобсона, Глеб / Иванович и перверсия: безумие Г. Успенского и его рассказ «Выпрямила» // Новое литературное обозрение. 2020. № 2. С. 131–147.

[31] Наше конспективное изложение основывается на следующих работах: *Матич О.* Эротическая утопия: новое религиозное сознание и fin de siècle в России. М., 2008; *Naiman E.* Sex in Public. The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton, 1997; *Кон И. С.* Сексуальная культура в России. М., 2019; После Сталина. Позднесоветская субъективность (1953–1985): Сб. статей. СПб., 2018.